

УРОКИ РАВНОВЕСИЯ

1

Как далеко в начало собственного существования может проникнуть память? Когда сгущается непроницаемая темнота, в которой уже ничего не удаётся рассмотреть? Напрасны усилия. Закрываю глаза, вглядываюсь до головной боли в эту темноту, но ничего не вижу. Иногда вдруг выплывает освещенный светом коридора стеклянный верх двери. Четыре ровных квадрата матового стекла. Меня уложили спать и свет в комнате выключили, а в коридоре зажгли. Уложила мама – значит, мне нет еще двух лет. А когда было почти два года, перед войной, меня отправили к бабушке в Днепропетровск (Екатеринослав – говорила бабушка).

Платформа. Стоит поезд. Нас провожают. Кто-то меня держит на руках. На мне зеленое бархатное пальтишко, в руке я держу обглоданную красную пластмассовую ложечку – это вместо соски. Именно запомнившиеся цвета убеждали маму, что этого никто не мог мне рассказать. Эту пустячную картинку я сама извлекла на свет и долго рассматривала в надежде пробраться дальше в глухую загадочную тьму, но нет...не получается, плохо получается. Последующее знание выскакивает на помощь с непрошеными подсказками. Память хочет быть честной, трясёт головой, отталкивает подсказки, не хочет обманываться, но...тоже получается плохо и, наконец, сдаётся, вздыхает и жалеет, что не расспросила тех, кто совсем недавно еще был жив.

Дедушка в белом свитере крупной вязки, с высоким воротом, отчаянный и безумный, мечется по квартире, крушит топором всё, что ни попадет под руку. «Чтоб не досталось ненавистным ляхам». Бабушка плачет. Это сколько же лет накапливалось добро. Ляхи – это никакие не поляки, это просто враги – они уже входят в город. И мы бежим. Дед нас всех и спас, спас и упал, и пробежали по нему оружие беженцы, прижимая к себе детей. Но это потом. А сейчас он грубо выталкивает нас, плачущих, из дома, прощай дом, прощай. «О, Берта...», – на секунду останавливается дед и обнимает бабушку.

Бежим из города, везем на тележке жалкое барахло. Горячая, выжженная степь. Воды нет. Я пью из лужи, потом страшная дизентерия.

Над степью опускается немецкий десант. Это огромные, усталые солдаты, им безразлично – евреи мы или не евреи. Один из них, подволакивая морщинистый парашют, подходит к нам и спрашивает почти по-русски: «Где селёный пункт?»

Долго едем в каких-то грязных, холодных и душных вагонах. Или между вагонами. На грохочущих буферах. Тетка напротив нас трясётся на своих узлах, качает головой и говорит бабушке: «Ой, не довезешь...». У меня уже кровавый понос и судороги. «Заткнись», – говорит бабушка противной толстой тётке и насильно вливает мне в рот горький раствор чаги. Не вырваться – ноги мои крепко сжаты её коленями, дедушка держит мои руки. Извиваюсь и бессильно плачу, но остаюсь жить. А вот дедушку мы не довезли – он ушел за кипятком и навсегда

исчез в грохоте налета. Очень быстро по звуку научились дети узнавать немецкие самолеты. И я научилась.

Не может бабушка спокойно слышать песню: «Эх, дороги – пыль да туман...», плачет и злится, видится ей пыльная трава и рука расслабленная, и чайник наш валяется рядом. «Выстрел грянет, ворон кружит – твой дружок в бурьяне неживой лежит». Так все и было. Наверное, так. Мертвый Лев остался на сырой земле под грохочущим небом. Мой дед – Лев, это его имя, но моя бабушка Берта – настоящая львица. Львицы живут дольше львов и почти никогда не плачут.

Поезд наш остановился надолго у каких-то домов. Впереди разбомбили пути. Вечер. Или сумерки, или просто темно в глазах от слабости. Бабушка уже не может нести меня на руках, я покорно плетусь за ней, иногда просто сажусь в теплую пыль, пушистую и нежную, как пепел.

Какие-то у бабушки надежды на эти деревенские дома.

Но нас никуда не пускают. Всемирная отзывчивость русской души из этих домов слегка поыветрилась. Одна баба, правда, вынесла нам поллитровую банку воды и тут же замахала руками:

«Прочь идите, прочь...»

Спасибо доброй женщине. Мы не только напилась, но бабушка даже ловко и быстро умыла меня. До сих пор чувствую её шершавую, согнутую ковшиком ладонь, в которую всё моё лицо и поместилось.

(Когда и где появляется мама, не помню и спросить уже не у кого. Каким чудом она нашла нас с бабушкой среди бегущих и гибнущих людей – непонятно. Знаю только, что в сорок втором году, в феврале она сошла внезапно с поезда, идущего на Восток, в ту самую Елабугу, куда везли из Ленинграда уцелевших университетских блокадников, счастливо миновавших разломы ладожского льда, в которых на их глазах тонули грузовики с товарищами, сошла, повинувшись неясному душевному толчку, в городе Горьком, где жила моя вторая бабушка, своевольно не поехала в страшную Елабугу, и нас нашла.)

И дальше мы были уже все вместе и долго жили в теплом и волшебном городе. А в городе было два города – новый город и старый город. Мы жили в новом, но старый мне нравился больше. В старом городе всё было или жёлтое, или чёрное. И под жёлтыми дувалами в чёрной тени стояли сосредоточенные ишаки, а над ишаками в горячем воздухе струились вверх жёлтые мечети.

Когда мы приходили в старый город, я радушно вертела головой и всем говорила: «рахмат, рахмат». Какая-то путаница была в моей голове, это единственное узбекское слово, которое я знала, означало «спасибо».

Меня обступали молчаливые девочки со множеством тугих косичек и сочувственно смотрели на мою стриженую голову.

Я была похожа на мальчика, и ничего из того, что любят девочки, я не любила. Никаких кукол, никаких зайчиков и домашних игрушек – любила я игры шумные и азартные. Жажда побед обуревала меня и завораживал риск поражений. Целые дни я носилась по улице с оголтелой компанией, с пронзительными воплями взлетала на низенькие дувалы, разбивая в кровь колени и шокируя маминых знакомых. Апа-молочница отодвигала занавеску, смотрела на нас изумленно, цокала языком.

Но среди тихих девочек в старом городе я и сама затихала и смущенно начинала объяснять, что стригут меня так потому, что часто болею, девочки, по-видимому, не понимали ни слова, радостно кивали и трясли косичками.

Вечером приходил Валерьян Брониславович – «Валерьянка с Бромом». Он тоже приехал из Ленинграда. С Медицинским институтом. В Ленинграде у него умерла

жена, а по дороге в Самарканд умер сын, и теперь он жил с матерью, которая ходить не могла и ездила по нашему Телефонному переулку в самодельном кресле на колесиках, отталкиваясь двумя палками. Меня она не любила, хотя разговаривала со мной всегда ласково, но я знала, что ужасно ей не нравлюсь. Ну кому могло понравиться тощее, мелкое, беззубое и буйное существо? Кому, кроме собственной бабушки? О, моя бабушка Берта...

Валерьянка всегда приносил что-нибудь вкусное и отдавал мне. Мама смотрела строго. Перед мамой он оправдывался, говорил, что к ней это не имеет ни малейшего отношения – просто ребёнок страшно худеет.

Я почему-то при нём вела себя совсем уж «разнузданно» (так говорила бабушка) – ходила пузом вперед, нарочно ступнями внутрь, шумно пила воду прямо из чайника и приказания бабушкиных глаз не хотела понимать.

Наконец разъярённая бабушка выдергивала меня за руку из комнаты и выволакивала во двор. Здесь я стихала и спокойненько сидела на скамеечке под нашими распахнутыми окнами, и мне было бы все отлично слышно, если бы только они о чем-нибудь разговаривали.

Но они не разговаривали, потому что нельзя сказать – они разговаривали, если время от времени он произносил что-нибудь вроде:

– Ну что же ты молчишь? – а мама ему всё равно не отвечала.

– Хорошо, хорошо, я уеду куда-нибудь. – Никуда он не мог уехать, он был врач, и была война.

Иногда мама очень тихо говорила:

– Как хочешь.

Теперь она вообще молчала, может быть, пожимала плечами, но мне этого было не видно. Зато пришёптывала рядом бабушка, что мама ведет себя так, как будто нас с ней, то есть меня и бабушки, вовсе нет, а есть для неё, для мамы то есть – один лишь папа, которого, может быть, уже и нет.

Мой отец пропал без вести, и поэтому мама не думала, что он пропал или, тем более, что его убили. А бабушка думала и говорила, что отец был почти слепой, а очки он потерял, наверное, еще до того, как ополчение вышло из Ленинграда. И что всё это было с его стороны, конечно, очень благородно, но совершенно бесполезно, раз он был практически слепой и не обучен стрелять. *(Отец защитил диссертацию тридцатого июня сорок первого года, а недели через две ушел добровольцем на фронт. Через много лет я узнаю, что у отца была «бронь», то есть в армию его не должны были призвать, он ушел воевать по доброй воле, втайне от своего учителя академика Тарле, который «воспринял гибель своего талантливого ученика как личное горе» – так написано в книге «Из литературного наследия академика Е.В.Тарле»)*

Однажды Валерьянка принес что-то невероятное – буханку белого хлеба. Он ухнул её мне на руки, и от тяжести я присела до самого пола.

Весь вечер я расхаживала по комнате, укачивая этот белый, румяный, хрустящий, неизвестно где выросший хлеб, прижималась к нему щекой. А когда меня укладывали спать, рядом на стул Валерьянка положил зацелованную мной буханку, подстелив газету.

Потом сквозь ресницы я видела, как подошла мама, заслонив свет, постояла надо мной, едва коснулась губами моей щеки и унесла этот не испробованный мной, никогда не виданный раньше хлеб. И там, за ширмочкой, отдала его Валерьянке, потому что он тотчас же зашептал:

– Нет, нет, нет, прошу тебя...

Он, вероятно, махал руками и отступал к двери, но он всё-таки взял этот свой несчастный хлеб. Взял и унёс. И я не закричала, не завопила во всё горло, вообще

ничего не сказала, не пошевелилась даже, только зажмурила глаза, потому что слёзы уже стекали по обеим сторонам лица прямо в уши.

Мама считала, что я очень похожа на папу, хотя никто – из тех, конечно, кто знал отца или видел его фотографии, – не находил во мне особого с ним сходства. Она часто разглядывала меня и удивлялась, что я становлюсь всё больше на него похожа.

– Как ты похожа на папу, – говорила мама, и взгляд её внезапно застывал, только руки продолжали гладить меня.

– Папа правда был слепой?

– Ну что ты, – изумлялась она, – нет, конечно. Нет, нет.

И снова:

– Нет, нет, – покачиваясь и прижимая меня к себе, – он просто плохо видит.

– Он всегда носил очки, да?

– Да, да...

Несколько раз: «Нет, нет». Несколько раз: «Да, да».

И как будто не слыша меня, как будто совсем по другому поводу.

В арыках текла желтая вода, и уезжали из Самарканда ленинградцы. Только мы никуда не ехали, потому что маму не отпускали. А все кругом уезжали. Уезжали из нового города и из старого, с Телефонного переулка и с улицы Ленина, уезжал завод «Кинап» и Медицинский институт, а с Медицинским институтом уезжал Валерьян Брониславович, Валерьянка с Бромом. Я первая узнала об этом, потому что он мне первой об этом сказал.

К нашему дому можно было пройти по Телефонному переулку, вдоль скользкого берега размытого арыка, встречая у каждого ворот хитрые расспросы соседней, глупые их советы или нудные замечания. А можно было идти по заброшенной железной дороге, заросшей колючей травой и засыпанной песком. За день под безжалостным солнцем рельсы накалялись и держали ровный, сухой жар до самого вечера.

Я шла по одному рельсу, изгибаясь и раскинув руки для равновесия. И там, где дорога заворачивала в наш Телефонный переулок, я увидела Валерьянку – он сидел на рельсе, подбородком на коленях, и не смотрел в мою сторону.

Я тоже не стала кричать ему издали, а, стараясь не сорваться, подошла и остановилась над ним.

Он взглянул, как будто и не ждал меня вовсе на этом горячем рельсе, но рад случайной встрече:

– Ну как жизнь?

Я вздохнула и села рядом:

– Меня снова укусила собака.

– Бешеная?

– Ага, бабушка теперь меня водит на уколы.

– А мы завтра уезжаем...

И я сразу поняла, что едут они в Ленинград. Иначе зачем бы он здесь сидел. Мы немного посидели рядом, помолчали, посмотрели вдаль, а потом Валерьянка сказал:

– Ну приходи провожать.

И мы пришли на следующий день провожать его в Ленинград, о котором мама проплакала всю ночь. А о Ленинграде – это значит о папе. Уже кончилась война, а он был всё еще пропавшим без вести.

Я несла Валерьянке виноград в сетке – крупные виноградины высывались наружу, и я их потихоньку отщипывала.

Когда все бросились по вагонам, мама снова заплакала. А Валерьянка стоял в окне за темным стеклом – еще с нами и уже почти в Ленинграде, но не было ему от этого никакой радости, и он грустно поводил подбородком.

А поезд уже шел, еще совсем медленно, но все-таки шел в Ленинград. Я немного пробежала рядом, я махала ему рукой, но Валерьянка не видел меня – недоуменно и растерянно он смотрел куда-то вкось, где осталась стоять мама.

Никогда с тех пор я не была в том городе, в том золотом, жарком городе, грязном и пыльном, в том чистом и горестном городе моего детства. И никогда уже не буду.

Но порой я так ясно вижу наш двор, наш неряшливый дом, нашу комнату с жалким уютом, крошащиеся, разваливающиеся ступеньки нашего крыльца, на котором стоял Игорь.

– А я уже живу на свете девять лет, – с грустью сказал он.

– А я живу на свете сто лет, – радостно закричала я и подпрыгнула на месте. Тоскливое презрение появилось на лице мальчика.

– Как же ты можешь жить на свете сто лет, когда тебе всего шесть. Ты шесть лет всего и живешь.

Это была невероятная новость – я была уверена, что существую вечно.

Я застыла в онемении посреди пыльного самаркандского двора, под пронзительно синим, безоблачным самаркандским небом.

Я оглядела этот нищий самаркандский двор, неказистые домики, набитые эвакуированными, я увидела мою бабушку, прислонившуюся к теплой глиняной стене, маму, стоящую перед ней – они о чем-то разговаривали.

Начало моей жизни терялось во мгле и потому, казалось, она была всегда.

И никогда она не была более вечной, чем в то время, когда могла кончиться, будто и не начиналась, от совершенного пустяка. Например, на пирсе карантинного Баку, где холера доедала истощенных ленинградцев. Или от дифтерита в огромной дифтеритной палате, где каждую ночь кто-нибудь умирал. Рядом со мной долго умирал узбекский мальчик, из тоненькой шейки его торчала металлическая трубка, в которой булькала и хрипела его кончающаяся жизнь.

Я лежала на спине, повернув голову в его сторону, в сердце моем был темный страх.

Или от укуса бешеной собаки в день моего четырехлетия. Одета в прекрасное голубое платье из парашютного шелка, я сидела в тот день на низеньком заборе, отделявшем наш двор от собачьего питомника Медицинского института, когда вылетело на меня безумное животное и, застыв на мгновение в диком оскале, крепко вцепилось в мою четырехлетнюю ногу.

На следующий день, кстати, голубое платье мне надеть не разрешили. Оказывается, следующий день, к моему удивлению, уже не был днем моего рождения. Так мне дали понять, что всё проходит.

Но почему же так быстро?

Особенно то, что радует нас и составляет наше счастье.

Этого я не знаю и сейчас.

Да мало ли от чего можно было перестать жить в то время, даже если не вспомнить про блокаду, бомбежки и голод в Ленинграде.

И вот хрупкая, но неистребимая жизнь моя продолжилась, как продолжились и другие везучие жизни, часто кощунственно прошедшие мимо многих смертей, редкая из которых была особо отмечена в то время.

Может быть, поэтому меня поразили чьи-то мирные похороны в Самарканде.

Была у меня коробка для сокровищ.

Там лежали цветные бусины, шарики от никелированной кровати, стекло для наблюдений затмений Солнца, сломанная брошка, золотое медное кольцо, маленький фарфоровый носорог с отбитыми ногами, а также блестящая серебряная ложечка.

Однажды после долгих выпрашиваний мне разрешили взять серебряную ложечку в детский сад, и с напутственными словами бабушки – «все равно по-

теряешь» – я понесла свое сокровище в кармане, придерживая карман ладонью. А во время кормления песком страшного, облитого марганцовкой зайца ложечка просто провалилась в песок. Только что она была здесь, но вот блеснула скользкой рыбкой между пальцев, канула в песок – и нет её нигде.

Отчаяние моё было безмерно. До вечера я просидела в этой огромной песочнице, безнадежно разрывая и просеивая серый песок, и лицо моё, мокрое от слёз и труда, было всё в этом колючем и душном песке, как в панировочных сухарях.

Когда же совсем наступил вечер, я была взята за руку и выведена за ворота на тёплую и пыльную улицу старого города, где, тихо постанывая, осталась стоять, упрямо упершись лбом в нагретую жарой стену.

И вдруг в конце этой улицы послышалась фантастическая горькая музыка, в закатном свете засияли золотые трубы, и темная река торжественного плача пронесла мимо меня красивый коричневый гроб.

Я побежала вдоль этой реки, зачарованная сияньем и музыкой труб, уханьем барабана, воплями плакальщиц и жуткой загадкой смерти, так рано начинающей терзать живые души.

На моё залитое слезами лицо глянули, перешептываясь, какие-то тощие женщины в черных платках. Ко мне протянулись руки, обняли и повели, глядя по голове, потом подняли над толпой, и я снова увидела покачивающийся впереди гроб.

– Подумать только, такая крошка... всё понимает...

Людские сердца потряслись выразительностью и глубиной детского страдания.

На расспросы, жалко ли мне бедного дедушку, я отвечала длинным стоном, закидывала голову и опять вдохновенно заливалась слезами.

Словно кристалл плача в насыщенном, но слегка уставшем слезном растворе, блуждала я среди толпы, вызывая на своём пути новые приступы шумной скорби.

Карманы мои быстро наполнялись конфетами, печеньем, блестящими узбекскими лепёшками, грецкими орехами, урюком.

Поразительно, сколько еды несли с собой люди, провожающие в последний путь неизвестного мне старого человека, чья смерть была так непонятно выделена, так мирно и вызывающе отмечена длинной дорогой через весь город на кладбище, сверкающим оркестром, траурными одеждами, моим плачем, памятью и улыбкой через многие годы.

Домой я вернулась, когда было уже совсем темно, и ничего не могла объяснить перепуганной бабушке, непрерывно повторявшей надо мной одну и ту же загадочную фразу:

– Не доводи меня до белого колена.

Кстати, эта странная фраза еще долго была мне совершенно непонятна и вызывала лишь смутное представление о сильном побелении колена, появляющемся у взрослых в минуты крайнего раздражения.

– Я, между прочим, помню, когда война началась, а ты этого помнить не можешь, – сказал Игорь.

– Могу, почему это не могу, – закривлялась я, перескакивая с ноги на ногу.

Этого он уже не выдержал и пошел от меня прочь, нарочно пыля босыми ногами.

Я догнала его, забежала вперед и протянула слегка уже облизанный кусок хлеба с вареньем, который давно держала в отставленной руке, как держат узбеки пиалу с чаем.

– Хочешь, кусни.

Он скривил губы, пожал плечами, хотел отказать, но я уже разломала кусок и протянула ему, не без некоторого усилия, большую часть.

Отказаться от еды в то время, тем более от хлеба, можно было только обладая сверхъестественным упрямством, как, например, моя мама, потерявшая разум гордячка, вернувшая своему верному поклоннику Валерьяну Брониславовичу незабвенную буханку белого хлеба, которую принес-то он именно мне; или в тяжком бреде во время болезни – не съеденного в scarлатину печенья мне было жаль всю последующую жизнь.

– Только мне поменьше, – сказал Игорь, уставившись на свои пыльные ноги, – тебе поправляться надо.

Я, по-видимому, только что вышла из очередной больницы.

Количество и разнообразие моих болезней было столь чудовищно, что вызывало не жалость, а, напротив, даже некоторое почтение.

Никто из соседей и случайных знакомых не избежал бабушкиного рассказа о том, как мне удалось заболеть самой странной корью, не виданной в Самарканде со времен Авиценны.

А история о моем необыкновенном дифтерите превращалась в небольшой спектакль, лично для меня, правда, несколько однообразный. Бабушка по очереди изображала различных медицинских знаменитостей, тоскливо гундосивших надо мной что-то о «крупозном воспалении легких», когда же рассказ доходил, наконец, до старичка-профессора, «из местных, вылитый Улугбек», она вскакивала, на несколько метров отбегала от зрителей, вскидывала свои худые руки, показывая, какая была у профессора папаха и какой завиток каракуля на воротнике, и как одной рукой профессор схватился за узенькую бородку, а другую выбросил вот так – вперед и вверх – и с порога, не раздеваясь, закричал:

– Дифтерит! Она уже хрипит у вас!

Далее шла сцена скандального выдворения бабушки из той самой дифтеритной палаты, из которой она ушла всё-таки лишь через месяц (главный врач плюнул и махнул на неё рукой – пусть), но уже вместе со мной, выхаживая весь этот месяц не только меня, но и всех прочих тощих и хрипящих детей.

Ничто не могло утратить мою бабушку, если мне нужна была её помощь, даже суровая карантинная охрана в Баку, сквозь которую она непостижимым образом проникала в город и возвращалась обратно с молоком, хлебом и лекарствами. Если бы она могла сохранить мне отца, она ушла бы вместо него в ополчение.

Моего отца мама не хотела называть «пропавшим без вести», просто от него давно уже не приходили письма, но и похоронки тоже не было, «похоронки ведь не было, не было», – твердила она многие годы, пересказывая удивительные истории спасений и чудесных встреч, и действительно, такие истории случались, и надежда жила еще очень долго.

Самой большой надеждой остался так и не встреченный ею высокий военный человек, который пришел к нам ранним утром, когда она еще не вернулась с дежурства, а бабушка уже ушла за хлебом.

На загорелом лице этого человека были белые морщины и добрая улыбка.

Он присел передо мной, привлёк меня к себе, оцарапал колючей щекой и вдруг протянул коробку цветных карандашей. Откуда он знал про карандаши? Я задохнулась, взяла его огромную руку, потянула к столу.

– Хотите, я вам покажу свои рисунки?

И кажется, в этот момент он поцеловал меня, и я очень близко увидела его глаза, полные слёз.

Отчего были эти слезы?

Тень горького предчувствия легла мне на сердце.

Он так и не дождался взрослых и, грустный, ушел, оставив на столе сахар, несколько банок тушенки, шоколад, галеты и что-то еще такое же необыкновенное.

От меня он принял в подарок только один рисунок, на котором дом, дерево и девочка ростом с дом стояли в ряд под бледно-желтым солнцем в густой синей траве, и девочка была похожа на песочные часы.

Давным-давно кончилась война, с которой не вернулся мой отец, давно умерла моя бабушка-львица, и мамы нет уже давно на этом свете, но иногда я все еще стою там, посреди нищего и пыльного самаркандского двора.

В руке у меня кусок хлеба с вареньем. Мы уже не голодаем, мы верим в победу и ждем конца войны. Передо мной девятилетний мальчик, рука его взметнулась в поучающем жесте, и весь он застыл в моей памяти, как в детской игре «замри».

Я слышу восторженный визг моих друзей, строящих плотину через наш мутный арык, и прерывистое стрекотанье швейной машинки из окон апы-молочницы, плач младенца, перебранку женщин, лай собак.

Справа от меня за глиняным дувалом стоит такая же глиняная непонятного мне назначения башня, а за ней растет дряхлое, морщинистое туговое дерево, а еще дальше, среди песка и колючек лежат ржавые, горячие рельсы старой железной дороги.

Скоро я побегу туда, простившись со своим умным девятилетним другом, чтобы побыть там одной и потренироваться на раскаленном рельсе в столь необходимом мне чувстве равновесия.

А пока я всё еще стою в пыли под солнцем, посреди шумного самаркандского двора, посреди моего бедного детства, не подозревая еще, что расстанусь в этот момент со своим жизнерадостным бессмертием.

2

Из Самарканда мы с бабушкой едем очень долго. Первая пересадка в Ташкенте. Ночуем на вокзале, на полу. Среди ночи всех будят и выгоняют на привокзальную площадь. Землетрясение. «Дальше от стен, ближе к центру», – кричит пожилой милиционер. Мы стоим в толпе, в центре площади. Я пытаюсь вырваться от бабушки и протиснуться в первые ряды – мне интересно, как будет разваливаться вокзал. То, что там остались все наши вещи, не особенно меня печалит. Мне хочется всё видеть своими глазами.

Пустой вокзал дрогнул, но устоял.

Потом мы бесконечно пересаживаемся с поезда на поезд. Кроме своих узлов, тащим еще ящик винограда. Бабушка время от времени озабоченно перебирает виноград, пересыпает его какими-то стружками, выбрасывает сгнившие ягоды. «Пустая затея», – думаю я, но помалкиваю. Этот ящик мне давно надоел. Но бабушка во что бы то ни стало хочет его довести – мы ведь едем в Ленинград, некоторые родственники и знакомые ухитрились выжить в блокаду – надо их порадовать виноградом. В Ленинграде нас уже ждет мама, какими-то неправдами вырвавшаяся из Самарканда.

В пути я совершаю нечто ужасное. Бабушка так и повторяла: «Ужас, ужас...», – пересказывая маме. Пытаясь забраться на верхнюю полку, я вцепляюсь в рукоятку «стоп-крана» и останавливаю поезд. Что-то шипит, женщины кричат, вещи падают. Через некоторое время появляются не улыбочивые люди в форме и говорят бабушке такие слова, от которых лицо её заливают мгновенная бледность, а руки охватывают меня крепко-крепко – мне больно. Но народ после войны осмелел, и вагон бурно защищает меня и бабушку. «Тоже мне диверсионный акт, – говорит презрительно людям в форме какой-то военный, – это же ребенок». «Ваши документы, товарищ капитан», – зло поворачивается к нему один из них.

Поезд потихоньку набирает ход. Капитана увели. О нас забыли.

Первый адрес в Ленинграде у нас такой: Невский проспект, дом номер один – угловой, красивый, серый дом, пять этажей, есть намёк на шестой – то ли мансарды, то ли чердак с окнами. Мы живем у маминой подруги. Потом, много позже из этого дома всех жильцов выселили, получили, должно быть, счастливые отдельные маленькие квартиры, без сожаления оставив свои комнаты в шесть метров высотой, с обильными алебастровыми плодами и листьями по потолкам, а в доме этом устроили тогдашние отцы города какое-то строительное управление.

Бабушке тяжело подниматься, но на некоторых площадках стоят мраморные скамеечки для отдыха. Бабушка подолгу сидит на них, тяжело дышит, у ног её – вязанка дров (стоит три рубля, это очень немалые деньги, все детство прошло в мечтаниях, что я сделаю, если найду сто рублей). Я недолго сижу с ней рядом – невозможно уже слышать, что мы живем в чужом доме, (наш-то дом на Мытнинской набережной разбомбили, и вещей никаких не осталось), и поэтому нужно стараться быть полезными, помогать по хозяйству, не шуметь, вести себя хорошо. И я срываюсь с места, несусь вверх до следующей площадки и, сильно перегнувшись через перила, пугаю её, гукаю в пролет, зову её и тороплю (маленькая кретинка), хотя вижу, что она всё еще не пришла в себя, еще держится за сердце.

Мама вместе с подругой (обе уже преподают в университете) начинают учить меня английскому, хвалят. Лингвистические возможности семилетнего человека почему-то их изумляют. Студенты-фронтвики учат язык без всякого желания и успеха.

Потом мы живем на Каменном острове, гуляем у «Дуба Пушкина», рыщем среди развалин и дразним пленных немцев, которые эти развалины разбирают, немцы довольно добродушно огрызаются. Мальчишки иногда приносят им курицу. Я ничем похвастаться не могу, ничего доброго я этим немцам не сделала. Это Аделина кормила пленных немцев своими школьными завтраками – два кусочка хлеба – просовывала их через щель в заборе на обратном пути из школы. То есть девочка на перемене не съедала свой завтрак. Я представляю, как трудно было не съесть эти жалкие кусочки, которые ей мама заворачивала в газету. Я не понимаю, как можно было не съесть завтрак. Я бы не смогла. И немцы уже ждали её за забором – грязные, оборванные, голодные – они работали на какой-то фабрике. Не знаю уж, надо ли упомянуть, что Аделина была из еврейской семьи. И ее родители знали, что делали немцы с евреями. Может быть, маленькая девочка и не знала. Но это неважно, не правда ли? Сострадание ведь тоже не имеет национальности.

Мы, наконец-то, получили постоянное жильё. Во дворе филологического факультета. Стены в комнате невероятной толщины. Мама поднимает руку к низкому потолку: «Петровские своды...» Но этаж первый, всегда сыро, по этим сводам сползают вниз медленные капли. Это тот флигель филфака, который долгие годы назывался «школа» – и действительно, до нашего приезда там была 21-я школа (а еще раньше – филологическая гимназия при Императорском историко-филологическом институте).

Замечательное место для игр – Филологический переулочек, пустынный, тихий тупик, бульжники окружены пучками пыльной травы, это для больших, толстых взрослых тупик, но не для нас, отсюда легко можно было протиснуться между железными прутьями и выйти к ботаническому саду университета. О, там были таинственные гроты, изогнутые мостики, колючие заросли, солнце, отраженное стеклянной крышей оранжереи, слепило глаза, а дальше – (может быть, мне приснилось) – огромный аэродром, но там сквозь щели в ограде мы видели настоящие самолеты. Теперь Филологического переулка нет. Сначала его перегородили решеткой предприимчивые люди, поставили рядом с решеткой уродливую будку, устроили в нашем переулке платную автостоянку, но и автостоянка просуществовала недолго, и сменил её вскоре пошлый пивной павильон. Но зато

рядом засияли бывшие конюшни Кваренги, отторгнутые от Академии тыла и транспорта и восстановленные загадочным богатеем.

Мы живем все в одной комнате, потом переезжаем, совсем рядом, в том же дворе, и тоже в «школу», над входом висит вывеска: «Кино-фото-лаборатория». (Вечность спустя, когда я уже училась в университете, в небольшом зальчике этой «лаборатории» мы смотрели разные хорошие фильмы, которые в кинотеатрах не показывали – «Чайки умирают в гавани», например).

У нас теперь почти отдельная квартира – комната и большая кухня с огромной плитой. Из кухни фанерной перегородкой выделили даже отдельную комнатушку для бабушки. Окна выходят во двор Главного здания, чуть левее Ректорского флигеля, если смотреть изнутри в этот двор.

И я вижу, как по аллее мимо наших окон медленно идет довольно высокий и грузный человек в темном костюме, руки заложил за спину – гуляет, так я думаю. И мама перекидывает ногу через подоконник, бежит по аллее и кидается к этому человеку. Он обнимает её, и они вместе прогуливаются и о чем-то беседуют. Этот человек – ректор университета Вознесенский. Я знаю, что мы многим ему обязаны. Мама практически убежала из Самарканда и приехала в Ленинград самовольно, без вызова, а это тогда делать было нельзя, но Вознесенский всё уладил, взял маму на работу, оформил вызов мне и бабушке.

Отношение мамы к имени Вознесенского и к университету было невероятно трепетное. Когда через много лет университет праздновал своё 150-летие, ей на торжественном вечере вручили памятную медаль. Она к этому событию отнеслась серьёзно и медалью этой очень дорожила. Точно такую же медаль получил Володя Конашенок, как бы между прочим, то есть просто на бегу, из рук своего руководителя и тогдашнего ректора Кирилла Яковлевича Кондратьева – они вместе летели в какую-то командировку, и почему-то прямо на лётном поле Кирилл Яковлевич, порывшись в карманах, достал плоскую коробочку и сказал: «Да, кстати, пока не забыл. Вот вам медаль, Володя». История эта в пересказе Конашенка всегда вызвала страшное возмущение моей мамы, как, впрочем, и весь наш образ жизни. Медаль свою Конашенок очень быстро и легкомысленно кому-то подарил, вернее всего, что по пьяному делу. А мамина медаль досталась мне и хранится, я надеюсь, среди прочих оставленных вещей и писем в родном Питере. Но вот что удивляет меня – когда Вознесенского расстреляли, мама об этом ни словом не обмолвилась, просто не помню никаких разговоров про «ленинградское дело». Что это – замкнутость, отчужденность в собственной семье, страх или привычно спрятанное страдание? Вернее всего, инстинкт молчания, «в молчанье счастье твое, в молчанье...».

Бабушка ведет меня в школу за руку, хотя мне восемь лет. Я учусь в первом классе, а могла бы во втором. Но так уж вышло. Мама почему-то не хотела отдавать меня в школу в Самарканде.

Мы проходим филологический двор, в центре которого на долгие годы распахнул свои неряшливые внутренности знаменитый университетский гараж, сейчас там, правда, никакого гаража нет, а разбит новенький садик – старые толстые тополя спилили давно, их никто кроме меня и не помнит, на скамейках сидят новенькие мальчики и девочки с сигаретками. В углу двора стоит теперь маленький чугунный Блок.

По выщербленной лестнице мы поднимаемся в вестибюль филфака – я успеваю глянуть на себя в огромное, замечательное зеркало в белой раме – открываем тяжелую старую дверь и оказываемся на Университетской набережной. Осень, ноябрь, темное утро – холодно. Трамвая долго нет. По Университетской набережной тогда ходил трамвай. Пятый номер. С двумя красными огнями.

Я оглядываюсь. Над зданием Филологического факультета, прямо над входом, на крыше ярко горят три вытянутых косых креста – ХХХ. «А что это – ха, ха, ха?» – интересуюсь я и получаю от бабушки легонький подзатыльник, при этом она бросает быстрый взгляд через плечо – не слышит ли кто-нибудь мои глупые вопросы. «Это цифры, бестолочь, римские цифры». Оказывается, скоро праздник, тридцатилетие Октябрьской революции, последние предпраздничные дни.

Годы спустя я еду в такси с моим другом мимо дома на набережной Карповки – серый дом важных людей, вогнутый фасад, конструктивизм, в доме первый в городе мусоропровод. И друг мой, указывая на мелкие светящиеся лампочки, которыми выложена на крыше дома всем известная и никем не замечаемая надпись, спрашивает таксиста:

«Не знаете, случайно, кто это такой Слава Капеесес?». «А хрен его знает», – также игриво отвечает таксист. Все смеются. Шутка такая. «СЛАВА КПСС» остается позади. Тотальная серьезность и единая вера давно кончились. Недосмотренная ирония, как вездесущий губительный газ, проникает во все пустоты и поры, кислотные медленные испарения разъедают бедные глиняные ноги обреченного колосса.

Школа далеко – на Второй линии, между Средним и Малым, ближе к Среднему. Тридцать вторая школа. Учительница – Ольга Дмитриевна, совсем старая дама в темном, длинном и бесформенном платье. Прическа гладкая, ни завитка, волосы седые, тусклые. Я бы давно забыла её имя и отчество, если бы на протяжении многих лет мама не повторяла: «Ольга Дмитриевна предсказывала...», – желая уколоть меня предвидением моих пороков опытным педагогом в те давние времена.

В третьем классе принимают в пионеры, я сижу у печки – читаю по бумажке: «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь». Красиво звучит. Ничего не скажешь.

Ольга Дмитриевна учит нас писать стихи. Лицей – да и только. Оказалось, что многие девочки давно стихи пишут и имеют даже специальные для этого тетрадки.

Урок поэзии. Было задано сочинить – ну или прочитайте то, что раньше сочинили. Стихи должны были быть про Родину, про красный галстук, про Сталина и про всё такое. «Можно про природу», – сделала уступку Ольга Дмитриевна.

Стихи были приблизительно такие: «В тяжелые дни для Отчизны родной,/ В суровые годы войны,/ Как знамя поднялся Олег Кошевой,/ Как мститель любимой страны». Ольга Дмитриевна предложила даже похлопать этой девочке, но тихонько. Потом еще одна, закатывая глазки, пропищала на пионерскую тему: «Мой красный галстук светит, как звездочка в ночи/ Мне сердце согревают его волшебные лучи ».

Когда очередь дошла до меня, я решила для разнообразия прочитать вот такое: «Кто был в Испании чудесной,/ Кто видел этот край небесный,/ Тот никогда не позабудет дыханье южной ночи,/ Тот вечно в жизни помнить будет испанки страстной очи».

«Боже!» – вырвалось у Ольги Дмитриевны, и она поднесла пальцы к вискам. Сорок три девочки с интересом уставились на неё. Бедная учительница взяла себя в руки и почти спокойно спросила: «Ну и про что твои стихи?»

«Про испанскую природу», – бойко ответила я.

«Ну вот что. Пусть мама зайдет ко мне в четверг, после уроков».

«С мамой ничего, к сожалению, не получится. Она работает».

«Хорошо, – сдерживаясь, говорит Ольга Дмитриевна, – пусть будет бабушка».

По-видимому, Ольга Дмитриевна заранее знает, на чьей стороне будет бабушка. Но моя бабушка непредсказуема.

Ольга Дмитриевна ведет бабушку в пустой класс и плотно закрывает дверь. Мне велено сидеть у раздевалки и ждать. Но я на цыпочках подбираюсь к закрытой

двери и прикладываю к ней ухо. Подслушивать неприлично – мне это уже вдобавило, но ведь так интересно.

Бабушкиного голоса вначале почти не слышно, иногда прорываются её поддакивания, я думаю, она там непрерывно кивает головой – и вдруг начинает меня возмущенно ругать: «Ужасный ребенок, просто ужасный. Вы совершенно правы. Я ей слово, она мне десять. Если бы не вы, Ольга Дмитриевна... Вы знаете, Вы ведь для неё единственный авторитет. Только и слышишь: Ольга Дмитриевна то, Ольга Дмитриевна это...» («Ну-ну», – говорю я себе за дверью). Учительница первая моя смягчается и начинает меня защищать. «А всё-таки, откуда эти страстные очи, откуда эта Испания?» – уже вполне миролюбиво любопытствует она. Бабушка, как это водится, отвечает вопросом на вопрос: «А откуда у парня испанская грусть?» Ольга Дмитриевна не очень понимает мою бабушку. «Ну это, возможно, на девочку так повлияла гражданская война в Испании, так преломилась в детском сознании», – поясняет бабушка.

На углу Первой линии и Среднего бабушка покупает мне эскимо на палочке – и себе тоже. Мы медленно идем по Съездовской, и бабушка даёт мне первые уроки безвредного, с её точки зрения, бытового конформизма. «Ну зачем же дразнить гусей. У тебя же были стихи, что-то там такое: "...только он один в Кремле не спит, / он над картой Родины стоит"... Очень бы подошло». «Ну всё, всё...», – я взмахиваю примирительно портфелем и слизываю с руки сладкий ручеек. И мы идём дальше, наслаждаясь мороженым, жизнью и обществом друг друга.

Бабушка придерживалась того мнения, что если существует двойная мораль, то пусть правильная будет дома. А что касается «не дразнить гусей», то она сама этим изошренно занималась. Когда у бездетной Софьи Николаевны исчез муж, известно, куда, бабушка, вынося на блюде рыбки огрызки их любимому коту, причитала над ним на глазах у мрачно молчащей коммунальной кухни: «Ешь, сиротинушка, ешь...», – а мне было приказано выносить теперь Софьино мусорное ведро и ходить для неё, разбитой радикулитом, неизвестно с каких радостей, в будничную. А что делать. Бабушкины приказы не обсуждались.

Когда умер Сталин, я училась в шестом классе. За несколько дней до пятого марта бюллетени о его здоровье вывешивали на углу Среднего и Восьмой линии, на стене того дома, где на втором этаже была жуткая столовая, настоящая тошнеловка, потом в просторечьи – «Лондон», ударение на последнем слоге. Народ толпился, высказывал соображения. Немолодая тетка в мужской шапке трясла кулачком: «Я – врач. Если бы меня пустили, я бы его вылечила». – «Тебя там только не хватало. Знаем мы вас, врачей...»

Утром пятого плач стоял повсеместный. От коридора коммунальной квартиры до актового зала школы.

Первый урок, естественно, отменили. Взволнованная классная руководительница поминутно выбегала из класса, оставляя нас одних. Девочки сидели тихо, заливаясь слезами. Что будет дальше – никто не знал.

Меня же волновала не будущая жизнь, а второй урок. Система у меня была такая: я готовила всегда только первый урок, а второй урок делался на первом, третий на втором и так далее. Вторым уроком в этот день должна была быть география. Новая тема. «Животный мир Африки». И вот, на всякий случай, я учу географию, и крупные слезы каплют на карту Африки – Сталин, конечно, умер, но «пару» получать не хочется. Но слезы каплют – общий плач заразителен, как кашель на концерте старинной музыки.

Второго урока тоже не было. Можно было не учить африканских животных. Всех повели в актовый зал. Там быстро уже был сооружен траурный уголок – бюст вождя, черно-красные ленты, почетный караул из лучших пионерок. Завуч Юлия Борисовна взобралась на трибуну, говорить не смогла, задохнулась в ры-

даниях, махнула рукой. Кто-то другой, покрепче, сменил её, и все, что положено, нам было сказано. Девочки стояли с опущенными головами. Потоки слез. В прямом смысле. На паркете долго высыхали лужицы, оставляя соляные разводы. А сверху лилась тревожная музыка скорби.

Некоторые безумные мамы студенты устремились в Москву, на похороны Сталина – без билетов, на подножках, на товарняках. Вернулись, к счастью, живые. Только позже стало известно, как много погибших, раздавленных толпой было в Москве. В Дом Советов, конечно, они не попали. Помню, перебивая друг друга, рассказывали у нас за столом, уже со смехом, что самый из них пронырливый был замечен издали в составе коммунистической арабской делегации, шел к заветному входу со спокойным торжественным лицом вдоль узкого коридора оцепления, на голове его была накручена чалма.

Бабушка собирала для будущего журналы и газеты. Люда Силенко плакала, рассматривая черно-красый журнал. «Я его теперь никогда не увижу». Такая у неё была мечта – увидеть его и умереть от восторга на месте. (Совсем немного прошло с тех пор времени, мы купили на всю компанию замечательные куртки, двусторонние, одна сторона – черная с красными полосами на плечах, вывернешь на другую сторону – красная с черными полосами, называли мы эти куртки «смерть вождя»).

«Как жить дальше?» – по-видимому, этот вопрос действительно все задавали друг другу. Учителя, родители, соседи, вообще – взрослые. Хорошим тоном, должно быть, считалось бурно отчаиваться, хвататься за голову и всячески сокрушаться. Одна лишь домработница профессора Тихомирова, невозмутимо снимая пену с медленно кипящего бульона, ответствовала: «Да хуже уж не будет», – и с некоторым даже презрением зыркнула на всех стонущих в коммунальной кухне и снова отвела глаза. В общем, она оказалась права (хотя...есть ведь еще и такое соображение – никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже). А домработница Аня знала то, что эти университетские люди не знали. Одна из всей семьи спаслась Аня, убежала, мать сказала: «Беги, Нюточка», – она и убежала, послушная была, мать и отец и братья маленькие все сгинули. «Какие они кулаки! Неленивые просто, умели работать, дружно жили и деток любили, приданое мне собирали. У меня коса – во какая была». Никакой косы у Ани к тому времени, конечно, не было. Я с сомнением поглядывала на ее реденький серый пучок на затылке и вежливо кивала.

Не думаю, чтобы этот вопрос возникал в головах моих одноклассников – сила молодости в неумолимом поступательном стремлении все дальше и дальше в жизнь, несмотря ни на что, в биологическом всепобеждающем эгоизме.

Году, кажется, в семидесятом я вернулась с Соловков, где в монастыре и на острове Муксалма еще видны были лагерные следы – камеры, «глазки» в железных дверях, «колючка», нары, какой-то ужасный мусор, гнусный запах неволи и запустения – и рассказывала об этом на веранде, на даче у друзей. Незнакомая мне интеллигентная старушка, сидящая в уголке, вдруг встрепенулась и призналась, что провела на Соловках шесть лет. Я почувствовала неловкость и начала извиняться, что заставила её вспомнить это неприятное время. «Что вы, деточка, это были лучшие годы моей жизни. Я там встретила своего будущего мужа. У нас была любовь. Замечательное, замечательное было время». Вот так. Пойми этих людей.

А Татьяна Гнедич на семинаре Виктора Андронниковича Мануйлова поведала нам, что если бы не благословенные два года тюрьмы, она никогда бы не перевела «Дон Жуана» Байрона. А следовательно заслужил особую благодарность переводчицы. Восхищенный её памятью – сознание его с трудом вмещало, что она знает «Дон Жуана» наизусть, да еще и по-аглички, – этот странный чекист приказал дать ей бумагу в камеру и следить, чтобы она действительно работала, а не отлынивала (точно так и жена какого-то известного писателя поступала – закрывала мужа на

ключ, чтобы писал, и с ключом в кармане отправлялась на базар за покупками к обеду). Может быть, именно следователю нужно было этот перевод и посвятить, хотелось мне спросить Татьяну Гнедич, но я сдержалась.

Палачи и жертвы легко менялись местами, это уж нам потом объяснили, известно, «по какой дорожке ушел нарком», но даже, и не меняясь местами, они оставались в странных, непостижимых стороннему уму отношениях. Моя подруга была еще школьницей. В дверь позвонили, девочка, наученная взрослыми и, не расслышав ответ на «кто там?», навесила цепочку, осторожно приоткрыла дверь и увидела на площадке крупного мужика с рюкзаком у ног. Мужик довольно искренне представился охранником из лагеря, откуда недавно вернулась мать. Девочка в ужасе захлопнула дверь, но мужик не уходил, зудел за дверью, просил позвонить матери на работу и сказать, что приехал такой-то. И девочка позвонила, и мать ахнула и приказала: «Впусти немедленно, если бы не он, меня бы не было».

К весне в Эрмитаже открылась выставка китайского искусства.

Фарфор «селадон», красные чешуйчатые драконы, резные деревянные шкатулки, дивные акварели с нежными цветами и бабочками и такие же изысканные иероглифы. Надо всем в вышине – два огромных портрета Сталина и Мао Цзе-дуна – это вышивка невообразимо мелким китайским крестиком. «Сталин и Мао слушают нас...»

Наш класс ведут на выставку, называется культпоход, на выходе каждой девочке торжественно вручают красивый каталог, в отдалении стоят посольские люди – сладко, по-китайски улыбаются. Дома я рассматриваю каталог и замечаю, что портрет Мао есть, а портрета Сталина нет, на его месте едва заметная узкая полоска бумаги, то есть он был, но... его вырезали. Я соображаю, что оригинал не выставить, а тем более уничтожить невозможно. А вот подправить каталог, который напечатан до смерти Сталина, да еще и по-русски, это в нашей власти. «Некрасиво подозревать, когда совершенно уверен». До двадцатого съезда еще далеко. И я садистически пристаю к учителям и взрослым, показываю узенькую полоску на месте вырезанного портрета Сталина и прошу пояснить. Каждый отбивается как может. Убедительнее всего звучит ответ: «Много будешь знать, Агеева, скоро состаришься.» Но, видимо, и старостью меня не испугать. Сосед наш, профессор Тихомиров, посмотрел на меня с любопытством и серьезно сказал: «Знаешь, что? Давай подождем».

В школе появляются университетские студенты-филологи, у них педагогическая практика. Несколько уроков литературы ведет тощий, остроносый Эрлен Киян и так в нашей школе и остается – устраивает драмкружок. Мечта у него не литературу преподавать, а стать режиссером. И вот теперь почти каждый вечер мы мчимся в школу и проводим время не столько в репетициях «Старых друзей», сколько в доверительных разговорах. Это были первые такие «круглые столы», мы действительно кружились вокруг Эрлена (непонятно, что означало его имя, может быть, «эра Ленина», классом старше училась девочка по имени Марксена, т.е. «Маркс-Энгельс», красавица, между прочим), настораживая этим кружением подозрительных родителей. Он мог, например, сказать: «Ну что это такое? На призыв партии и правительства рабочие Кировского завода откликнулись... труженики села откликнулись... творческая интеллигенция откликнулась... Откликушество какое-то гуляет по стране». Но и мы удивляли его, мы были уже свободнее, чем школьники, которых он помнил. Ревнивая учительница Елена Адольфовна, которая ставила с нами на английском языке пьесу собственного сочинения – «Том Соьер» называлась пьеса – поджимала губы и про наш кружок говорила так: «Mutual admiration society» – *общество взаимного восхищения*. Но это были не политические разногласия с Эрленом, а грусть обиженного женского сердца. Он тайно проводит нас на филфаковский диспут – обсуждают «Не хлебом единым» Дудинцева – какое кипение страстей, какая злость и порыв по поводу вещей еще таких отвлеченных и для нас странных.

Постепенно в школе появляются новые учителя, одного за другим представлял нам их тоже довольно новый директор, человек загадочный и хромой, очень хотел, чтобы они нам понравились. Все эти новенькие были, как правило, бывшие сидельцы. По-видимому, слух был верный, что с нашим директором связывало их арестантское братство. Истории их откуда-то стали всем известны. Физик, говорили, загремел с четвертого курса физического факультета за рукописный журнал, учительница литературы за верность мужу. Математик...не помню уже за что..., но по тому, как он вел уроки, как был ироничен и остроумен, понятно было, что не для этих школярских стен он предназначен, и это только временное пристанище для него. Так оно и вышло. Очень скоро стал профессором и преподавал уже на матмехе. Но и для нас кое-что успел сделать, первые места на городских олимпиадах по математике долго еще были наши, а в голове моей мелькала время от времени даже безумная мысль поступить на матмех, что объяснялось, впрочем, не математическими способностями и не склонностью к математике, а обыкновенной ленью, то есть возможностью ходить на лекции, не надевая пальто, не выходя на улицу: дверь из квартиры напротив, где жила моя подруга Галя и дружественная семья Платуновых, вела прямо на третий этаж матмеха. Мы жили в доме 31 по Десятой линии, переехали туда, покинули «петровские своды», когда начали постепенно расселять университетские дворы. Матмех был – как раз соседний, дом номер 33. И школа у меня была тоже уже другая – тридцать третья школа на Двенадцатой линии, между Средним и Большим.

«Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро...», «В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы...», «Мне на плечи кидается век-волкодав...». В учебнике этих стихов не было, мы запоминали их моментально с голоса Александры Алексеевны, кое-кто приносил из дома старые книжечки с пожелтевшими ломкими страницами, на перемене показывали Александре, хвастались. «О! – восхищалась она, – я бы не разрешила такие книжки из дому выносить...». Александру любили – мы не были для неё временным пристанищем, она пришла в школу ради нас и тех, кто придет после нас. Ну и что, что программа и «Мать» Горького – между прочим, тоже люди... справедливости хотели... Декабристы, «Русские женщины».

Вечер посвящен декабристам. Играем отрывок. Александра Алексеевна в первом ряду в страшном волнении непрерывно поправляет у горла свою белозубую камею.

Губернатор (Дима Барков, наш красавец, наше «национальное достояние», стал, кстати, актером, играл у Игоря Владимирова) не пускает княгиню Трубецкую к мужу, в Сибирь: *Подумайте, дитя: О ком тоска? К кому любовь?*

Княгиня (это я, на плечах роскошная, с кистями, чуть изъеденная молью шаль соседки Софьи Николаовны) с гневным достоинством: *Молчите, генерал!*

Губернатор: *Когда б не доблестная кровь текла в вас – я б молчал. Но если рвётесь вы вперед, Не веря ничему, Быть может, гордость вас спасёт... Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой (зал почему-то хихикает), А он, не думая о том, Что станется с женой, Увлёкся призраком пустым...И вот его судьба! И что ж?...бежите вы за ним, как жалкая раба!*

Княгиня: *Нет! Я не жалкая раба, Я женщина, жена!* (в зале снова звуки придушенного смеха и повизгивания) *Пускай горька моя судьба – Я буду ей верна!*

Александра Алексеевна сама была вроде этой княгини – не отказалась от мужа. Это мы понимали. Сорные семена абстрактных гуманистических ценностей прорастали под слабеньким солнцем оттепели..

Нежданно старый генерал, Закрыв рукой глаза, – это высунулся из складок занавеса автор. «*Как я вас мучил...Боже мой!*», – это всхлипывает Барков. И снова

автор комментирует: *Из-под руки на ус седой скатилась слеза*. Старый генерал, верный служака, но вот ведь человек, оказывается. Дима непрошеную слезу снимает с уса и показывает публике. В зале смеются, но потом хлопают нам яростно и от души. Александра и сама могла смеяться ни с того ни с сего. Проходим Блока, не знаю уж, был ли он так подробно обозначен в программе. К доске выходит Домнин, читает, слегка набычившись:

Я послал тебе черную розу в стакане
Золотого, как небо, аи.

И от этого *стакана* наша Александра, зная, что такое холодный карцер, схватилась сначала за сердце, потом закрыла глаза и вдруг начала хохотать как ненормальная.

Мальчик Петя Домнин, безукоризненный отличник, зная уже, что аи – сорт шампанского, все-таки полагал, что это вино, а из чего пьют вино – ну из стаканов, конечно, какие еще бокалы, такая устойчивая ассоциация, тем более, он был из детского дома.

Англичанка, кроме пьес, придумала еще и азартную игру «на деньги» (о ужас!). Раз в неделю мы должны были на переменах говорить только по-английски, если не выдержишь и вырвется русское слово – плати штраф. Назначались специальные дежурные, изверги, не знающие пощады, которые очень рьяно эти копейки собирали. На собранные деньги весной отправлялись всем классом в поход, снисходительно прихватив кой-кого из учителей, помирившегося с англичанкой Эрлена, иногда и математика с неприлично молодым биологом, который свой первый урок в нашем классе начал коротким выкриком – «а ну, закрыть рты» – такой мощной громкости, что мы остолбенели и затихли надолго. В походе, естественно, пылали нормальные юношеские страсти. Однажды мальчик по имени Рудик, один из трех немецких мальчиков из детского дома, выскочил передо мной на скользкой тропинке – я несла к озеру стопку алюминиевых мисок, – прошипел: «Если я тебе не нужен, ты мне тоже не нужна», толкнул в грудь, выбил из рук моих миски, рассыпавшиеся с колокольным звоном, и скрылся в буреломной чаще. Стыдно признаться, но я прокричала ему в спину «фашист» и принялась собирать эти миски без всякой обиды, но с некоторым непониманием, поскольку с этим Рудиком – Рудольф было его имя – я вообще никогда и словом не перемолвилась.

А у костров велись такие разговоры, узнав о которых родители еще долго пересказывали и с ужасом пересказывали друг другу идеи Эрлена о простой двухпартийной системе в нашем незыблемом государстве. Очень хорошо помню, идея была удивительно проста и понятна: ту партию, которая есть, разделить на две по четным и нечетным номерам партийных билетов, и чтобы они друг за другом наблюдали, и проверяли, и контролировали. Вообще говоря, разговор этот был из подслушанных – после отбоя, когда у костра остались биолог, Эрлен, неистовая англичанка и кто-то еще из взрослых.

Биолог вообще не был похож на учителя, слишком уж молод, переступив порог нашего класса и прорывав «а ну, закрыть рты», уставился на вечный лозунг, висевший над доской в кабинете биологии, – в школе были кабинеты: кабинет физики, кабинет химии.... Нормальный лозунг, никто и не замечал его давно, якобы фраза Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Как бы сам с собой разговаривая, биолог задумчиво произнес: «...Странно, как это милость можно взять. Какая же это милость тогда...». (*Сожаление новых времен – «мы не можем ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали» – звучит, во всяком случае, более логично, чем этот памятный нашему поколению лозунг*).

Потом биолог велел открыть тетради на чистой странице и написать крупными буквами: *ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ*, что мы, ничего не понимая, и сделали. «Имейте в виду – в учебнике этой темы нет, но сдавать будете мне». В новый, таинственный

мир вошли мы вслед за этим молодым человеком, и некоторые так и не вышли из него и поступили на биологический, на ту самую кафедру, где в самые темные годы продолжал висеть на стене портрет Николая Ивановича Вавилова.

Физик Анатолий, красавец с печальными глазами, напротив, тихим голосом убеждал, что прекраснее и главнее физики нет ничего на свете, однако обожал живопись, и часто вместо лабораторных часов, на которых по программе мы должны были с помощью стареньких проводочков, амперметра и вольтметра бесконечно проверять закон Ома, водил нас регулярно в Эрмитаж, решив, по-видимому, что закон Ома уже достаточно надежно проверен. Это было явным нарушением, и все мы вместе, Анатолий больше всех, боялись попасться на глаза завучу Шуке в момент выскальзывания из школы, и никому в голову не приходило отказаться идти в Эрмитаж. А там как раз открылась первая скандальная выставка Пабло Пикассо, и случилась известная драка, которую мы, к сожалению, не застали.

Странные у нас были учителя, просто какие-то подвижники, парили в облаках и задыхались от свободы, чего только не придумывали. «Времена были хуже, а люди лучше, ей- богу...» Кто-нибудь, возможно, кинет в советскую школу справедливый камень. Я – не кину. В мою школу – не кину. Кто-то, может быть, в другой школе учился. Я их понимаю.

В результате, по окончании экзаменов на аттестат зрелости, нам полагалось слишком много золотых медалей. В РОНО ахнули и побежали в ГОРОНО. В общем, подсчитали – прослезились. «Вы что – хотите забрать всё золото?» И вышел такой устный, тихий приказ. Золотые – по обстоятельствам исключительным, а всех остальных переделать, так и быть, в серебряные, а лучше всего что-нибудь придумать и обойтись вообще без медалей.

В кабинете директора мне предложили выбрать предмет, по которому оценка шла в аттестат из прошлых лет, чтобы не давать золотую – результаты экзаменов переделать-то было уже затруднительно, все-таки какие-то протоколы имелись, наверное. Я согласилась на четверку по черчению и получила серебряную. Как-то даже по-человечески пытался действовать директор. Но в коридоре рыдали лишенцы и их родители. Медаль давала право поступить в институт без экзаменов, вне конкурса. А золотая медаль досталась мальчику из детского дома – Пете Домнину, что, в общем-то, справедливо, ему – нужнее.

«Не расстраивайся», – сказал мне директор и, сильно хромая, даже вышел из-за стола, чего обычно не делал, – хромые, как известно, стараются поскорее сесть – погладил меня по плечу: «Эта история мне самому неприятна (я догадалась – его тоже унизили), но видишь, я сохраняю равновесие», – и кивнул головой в сторону двери. За дверью слышались довольно громкие стоны и всхлипы обиженных. Завуч по прозвищу «Шука», несменяемый парторг, сидела у торца директорского стола, шевелила какими-то бумажками и позой своей и подрагиванием вечно мокрого щучьего носика выражала явное неодобрение. Непонятно, кому оно предназначалось – директору с его «китайскими церемониями» или мне, которую, будь её воля, она выпустила бы из школы не с медалью, пусть даже и серебряной, а с «волчьим билетом» (так она говорила) за дерзость и наплевательское отношение к этому самому страшному и непонятному билету, символу её жалкой власти.

«Уроки только начинаются, девочка», – сказал мне хромой директор. Всё, что он мог мне сказать на прощание под взглядом Шуки, мутные глазки которой в этот момент испустили быстрое злорадное свечение, а безгубый ротик растянулся в мстительной гримаске. И я ответила ей самой спокойной из своих улыбок – за спиной были уже кой-какие тренировки в столь необходимом, как оказалось, чувстве равновесия.